

ГОГОЛЕВСКИЕ ДНИ В МОСКВЕ

Всякое удовольствие стоит труда, и иногда большого: за эти три дня, 26, 27 и 28 апреля, когда Москва сыпала на головы своих гостей всяческие умственные, литературные, музыкальные и художественные удовольствия, я до того устал, как не уставал за много лет, и даже кажется — никогда. Боль в спине, изломанные ноги, голова, точно налитая свинцом и, ко всему, раздражение на вся и всех, на удовольствия и доставивших их — вот осозаемый результат праздников, с которыми на четвертый день я беспомощно лежал на кушетке, как умирающий цирковой боец. Недаром я так смущился, когда мне было предложено поехать на эти дни в Москву «взложить венок» и проч... Я попал в пасть чудовища, именуемого «удовольствием», которое съело скромного журналиста почти до сапогов.

В Москве — снег, дождь и всякая гадость валится с неба. «Неужели не прояснеет к завтрему? — думал, конечно, не один я. — Как же открывать памятник? Как соберутся толпы детей из школ к его подножию? Нельзя церемонию окончить в один час, а несколько часов под дождем и снегом, в некоторые минуты с непокрытою головою, — это пытка».

Но Бог сжался: настало 26 апреля, и утро прояснилось. С неба ничего не падает; земля сырья, частью мокрая, но без луж. Открытие памятника вполне возможно и, может быть, даже будет приятно. Во всяком случае неожиданно хорошая погода после дурной разлила на все лица заметное удовольствие, и день этот, открытие памятника, и вся связанные с открытием «чтения», встречались оживленно и почти весело.

Второй большой памятник великому писателю, — второму

после Пушкина. Теперь очередь за Грибоедовым: следующий памятник будет ему; или — коллективный памятник славянофильству и славянофилам, этому великому московскому явлению, великому московскому умственному движению.

Заупокойная литургия в храме Спасителя протекала торжественно и красиво, как все архиерейские службы. Был полный порядок: народ не теснился, никто никого не сбил с ног. Но вот 12 часов — и все поспешили к памятнику.

«Эстрады не будут заняты: осмотр накануне привел к убеждению в их непрочности, и не велено пускать туда зрителей, во избежание не наверной, но возможной катастрофы». Это, конечно, хорошо, что накануне осмотрели, но если бы осмотрели за неделю, то, наверное, указали бы и приказали укрепить эстрады, и тогда бы не было в день открытия растерявшейся толпы, которая, не будучипущена на заготовленные здесь места и уже придя к памятнику, естественно кинулась на ту тесную площадку около самого памятника, которую должны были занимать только лица, депутатии и группы их, которые имели непосредственное отношение к открытию памятника, связь с открытием. Множество венков, так бережно принесенных сюда, почти мялись или были под угрозой вот-вот измяться. Несколько генералов и печальных профессоров бродили у подножия, вплотную к памятнику, беспомощно разводя руками, когда их просили о введении какого-нибудь порядка, о сбережении венков. И венконосцы почти все вступали в брань и толкотню с толпою, которая напирала и напирала.

Но вот полотно сдернулось... Не все знали или помнили проект памятника, и многие смотрели на него и оценивали его свежим впечатлением первого взгляда. Так смотрел на него и я...

Памятник хорош и не хорош; и очень хорош и очень не хоро...

Председатель Общества любителей российской словесности, А. Е. Грузинский, произнес речь перед памятником,— довольно длинную, но которой никто не слышал (обыкновенный голос на площади)... Затем вереницей пошли «чествования» и «торжества»... Зачем они? кому они?.. «Нам» в сущности,— а «к Гоголю» их отношение слабо или ничтожно... «Нам», разумеется, надо периодически оживляться, и для этого в повод избирается манифест, праздник, юбилей «события» или «героя», и — вот таковое «открытие памятника»... Как было бы ярко и красиво, если бы готовый памятник обнажался от закутывающего полотна в ночь, в тиши, в безмолвии: и назавтра утром все нашли бы его, увидели бы что — он есть... Без шума, без речей и

вообще без запыленных листьев старого веника, которым вымели пол. «Открытие памятника» правда — точно «метут пол»: все вещи сдвинуты с места и все ходят осовелые, не находя себе приюта.

Слуги стали гасить огни,— но мы упросили не гасить одной залы. Это было где-то, где — не помню, но только зал было множество, и все были убранны «бюстиками Гоголя», повторяющими фигуру его на памятнике... Они наскучили, как «орел» на пятаке... Сидели, пили, кто платил — не знаю, были беллетрист Б. З. и его жена, еще кто-то, и еще кто-то, и наконец маленького роста, пожилого возраста, мягкий в фигуре преподаватель гимназии, который повторял часто:

— Я, батюшка,— шестидесятник...

Кажется, прибавлял еще:

— И на этом остаюсь...

Всякое явление «хорошо в самом себе». За много лет я пережил впервые *свежее впечатление* людей тех лет, или учеников тех лет,— и не могу передать, как оно было мило, хорошо, приятно. Несносная сторона «гоголевских дней в Москве» заключалась в том, что все несколько ломались, все говорили «не очень себе нужное»,— и этот учительёк с упорною жизнью в себе и для себя, и с благородной привязанностью к гóдам, которые в сущности и прошли и не могли его поблагодарить, не могли даже его услышать — был необыкновенно красив. Он чувствовал себя окруженным — тут за вином, тут за столом — «новейшей русской литературой», отчасти декадентством, отчасти мистицизмом, отчасти черт знает чем, и, наливая вино, без вражды и без сочувствия, без гнева и дружбы, очерчивал как бы магический круг вокруг себя, в котором чувствовал себя совершенно хорошо, удобно и счастливо, как бы история никуда далее не шла, а главное — он сам никуда не пойдет вместе с этой историей.

Мне что-то почудилось в нем *единственно*, может быть, торжествовавшее «открытие памятника великому реалисту Гоголю», он мне представился единственно принесшим *настоящий венок* Гоголю,— как его истолковывали 60-ые годы, Чернышевский и «Современник», истолковывали вообще «все». Может быть, это истолкование и узко, может быть, и даже наверно — оно ложно. Не в этом дело. Наши иллюзии творят жизнь не менее, чем самые заправские факты. Пусть в *субъекте* своем Гоголь не был ни реалистом, ни натуралистом: творило

«дело» не то, чем он был в «субъекте», но творило дело то, чем он *казался* в «объекте», — казался зрителям, современникам, читателям. Жизнь и историю сотворило, и — огромную жизнь сотворило, именно *принятие его за натуралиста и реалиста*, именно то, что и «Ревизора» и «Мертвые души» все сочли (пусть ложно) за *копию* с действительности, подписав под творениями — «с подлинным верно».

Наставление на этом — детское, нелепое, не умное — принадлежит последнему фазису деятельности Белинского и особенно 60-м годам. Оно-то, таковое понимание, пусть равное полному непониманию, однако и произвело весь «бурелом» в истории, оно и сообщило Гоголю огромную силу ломающего лома, — поистине значение того архимедовского рычага, которым великий механик обещал бы перевернуть землю, «если бы нашел точку опоры». Гоголь в «Мертвых душах» и мелочнее в «Ревизоре» и дал вот для русской ломающей силы такую «точку опоры». Он показал всю Россию бездобрестной, — небытием. Показал с такой невероятной силой и яркостью, что зрители ослепли и на минуту перестали видеть действительность, перестали что-нибудь знать, перестали понимать, что ничего подобного «Мертвым душам», конечно, нет в живой жизни и в *полноте* живой жизни... Один вой, жалобный, убитый, проносясь по стране: «*Ничего нет!..*» «*Пусто!*...» «*Пуст Божий мир!*...» И явился взрыв такой деятельности, такого подъема, какого за десятилетие нельзя было ожидать в довольно спокойной и эпической России...

Вот что значат иллюзии...

Мы пили. Лампы не гасли. Наконец с укоряющими лицами слуги стали гасить их «помаленьку». Решительно не хотелось мне расставаться с учительком, — ни с розами, которые кто-то поставил на столе и которые мы рвали и осипали ими друг друга. Все было весело и по-братски. Первый раз в жизни я испытал действие вина, которое не переношу, т. е. испытал, что в вине есть «добро»...

Из речей была очень хороша речь харьковского проф. Багалея; очень умна, смела и дерзка речь Брюсова; и «Господи, ты один знаешь, что это такое» — речь профессора в актовом зале Университета, который говорил с час... о службе Гоголя в Московском университете в должности преподавателя всеобщей истории... Исчислил все его «повышения по службе» и проч. и проч., — все это с самым серьезным видом.

«Знатные иностранцы», которых было позвано много,— говорили тоже хорошо. Между ними я увидел впервые Де-Вогюэ, которому так много обязана русская литература в деле признания ее и усвоения ее западными литературами. Издавна говорилось ему в сердце «спасибо» и «спасибо»...

Вообще было много хорошего. Но ничего подобного тому, что произошло при открытии памятника Пушкину в Москве же, когда говорили Достоевский, Тургенев, Островский... Кто мог бы скрасить празднество — это Ключевский: но он вовсе не показался на открытии памятника, кажется, за недолго перед тем потеряв жену и угнетенный в душе... Это незаменимое «отсутствие» не было вознаграждено ни одним из сореных «присутствий». Выслушать взгляд Ключевского на Гоголя — это было бы целое событие. Бог его не дал нам...

1909—1913 гг.